

УДК 398.87  
ББК 82.3

Т. В. ХЛЫБОВА  
(Москва)

## ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМЫ В ПОЗДНЕЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

*Он грабил, терзал, убивал,  
Но всеж-таки помнил о Боге*

[Смолицкий, Михайлова 1994, № 76].

*Я в нее влюбился,  
Ею я прельстился*

[Селиванов, Кулагина 1999, № 268].

**Аннотация:** Статья посвящена лексико-фразеологическим особенностям поздней народной лирики. Рассматриваются пути проникновения церковнославянанизмов в народные романсы и исследуются механизмы семантических сдвигов в текстах, порожденных эпохой сентиментализма и романтизма, связанной с явлением секуляризации культуры.

**Ключевые слова:** народная баллада, жестокий романс, церковнославянизмы, лирика, язык фольклора.

Вопрос о влиянии церковнославянской языковой стихии на формирование русского литературного языка занимал отечественных исследователей со временем появления филологии в России. Эта проблема была поставлена в трудах М. В. Ломоносова, А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева и на протяжении XIX—XX вв. решалась в том или ином аспекте в зависимости от научных задач и предпочтений исследователей. Что касается отражения церковной культуры и языка православной церкви в русском фольклоре, то изучение этой стороны вопроса гораздо меньше занимало и языковедов, и фольклористов.

Такие жанры фольклора, как былина, баллада, историческая песня, складывались в эпоху тотальной религиозности. Поэтому не случайно в них широко представлены христианские мотивы, герои, соответствующая лексика. Безусловно, наследие языческой старины в первую очередь определяло общий

облик, скажем, былины, однако никто из исследователей не станет отрицать влияния христианского пласта культуры на идеино-композиционные, стилистические и языковые особенности этого ведущего эпического жанра русского фольклора. Достаточно вспомнить устойчивый мотив разорения русских земель в сюжетах, связанных с нашествием врагов (разрушенные церкви и затоптанные в грязь образа; враг хочет «Божьи церкви все на дым спустить» [Гильфердинг 1950, № 75]); или мотивацию подвигов и поездок героев (призыв постоять «за веру Хрисъянскую» [Киреевский 1860, № 4], «за веру, за отечество», «за матушки божьи церкви» или «за церкви за соборных» [Гильфердинг 1950, № 75]), желание поехать «в славной, столной Киев-град / Помолиться чудотворцам Киевским» [Киреевский 1860, № 4] или «во те же монастыри душу спасти» [Григорьев 1939, № 19 (231)]. Отметим в этом ряду и героев, тесно связанных с миром христианской образности (калики переходящие, крестовые братия, Илья Муромец — «крестничек Самсона Самойловича»), и соответствующие детали — например, нательный крест, который спасает героя от калены стрелы [Гильфердинг 1950, № 75]. О влиянии христианства свидетельствует и словарь языка былины, включающий церковнославянскую лексику и некоторые словообразовательные элементы, заимствованные из старославянского языка (*благословение, чудотворный, вера христианская, часовенка, заутреня христовская, обеденка, церкви соборные, возговорит, воскречит, единый, изберечь, исполнить, млад и т. д.*)<sup>1</sup>. Продолжая эпическую деятельность, историческая песня и баллада заимствуют многие особенности былины, в том числе и риторические приемы, отражающие мировоззрение создателей и носителей этих текстов.

Практически все жанры эпического песенного фольклора (и былина, и историческая песня, и баллада) находились во взаимодействии с духовными стихами. Появление отдельных церковных мотивов и лексико-фразеологиче-

<sup>1</sup> О церковнославянизмах в былине см., например, раздел «Религия» в кн.: [Бобунова, Хорленко 2006, 141–156].

ских единиц в «светских» жанрах могло быть опосредованным: они могли проникать в тексты благодаря народной религиозной поэзии, в тесном со-прикосновении с которой находились. Близость таких жанров, как баллада и духовный стих, отмечали многие исследователи: П. А. Бессонов<sup>2</sup>, В. И. Чернышев и Н. П. Андреев<sup>3</sup>, Д. М. Балашов<sup>4</sup>, С. Н. Азбелев<sup>5</sup>, Ф. М. Селиванов<sup>6</sup>.

Народная баллада с течением времени теряет свой эпический статус и под влиянием фольклорных лирических жанров, а также набирающей силу профессиональной литературной силлабо-тоники превращается в балладно-романсный жанр, что определило особенности соответствующих текстов, носящих название *жестокий романс, мещанский романс* и т. д. Процесс этот начался в конце XVIII в., достигнув в XIX в. своего пика, а соответствующие тексты благополучно просуществовали всё XX столетие.

К песенным жанрам, бытование которых началось в XVIII — первой половине XIX в., следует отнести городские авторские песни, использовавшие фольклорные сюжеты, образы и мотивы. Во второй половине XIX в., помимо расширения репертуара, происходит

<sup>2</sup> П. А. Бессонов включает в сборник духовных стихов «Калики переходные» текст «Василий и Софья», который традиционно относят к балладам.

<sup>3</sup> Ряд текстов духовных стихов должны были войти в сборник «Русская баллада» В. И. Чернышева и Н. П. Андреева. Этому помешало, по-видимому, время воинствующего безбожия: он издан в 1936 г.

<sup>4</sup> Д. М. Балашов включает стихи «Егорий», «Аника-воин», «Два Лазаря» в свой сборник: [Балашов 1963]. О «балладном» характере других сюжетов автор размышляет в монографии: [Балашов 1966, 53, 56].

<sup>5</sup> С. Н. Азбелев относит к балладам сюжеты о Борисе и Глебе, о Егории, о царе Давиде и Олене, «Вознесение», «Два Лазаря» и некоторые другие [Азбелев 1991]. Характерна аргументация исследователя: «Хотя по заимствованному церковному сюжету ее (песню о Егории. — Т. Х.) можно было бы отнести к духовным стихам, реальное жизненное и злободневное наполнение этого сюжета дает основание считать песню о змееборце Егории — балладой» [Там же, 27].

<sup>6</sup> См. об этом: [Селиванов 1995, 57–58].

активный процесс их популяризации и фольклоризации благодаря лубочным сборникам, различным сценическим площадкам (ресторанным, ярмарочным), впоследствии — граммофону.

О текстах балладно-романсной природы и городских песнях и пойдет речь в статье. Частиенно унаследовав фольклорные традиции как эпических, так и лирических жанров, эти тексты рождались и становились популярными в эпоху секуляризации русской культуры, сыгравшей значительную роль в процессе общей гуманизации и изменения ценностных ориентиров народа. Мы остановимся на достаточно частом вопросе — о церковнославянизмах в этих текстах, который тем не менее отражает разнообразные процессы, происходившие в народной поэзии и народном мировосприятии. Славянизмы в эпоху формирования современного литературного языка (во второй половине XVIII — начале XIX вв.) «занимают центральное место в кругу лексики, связанной с развитием русского проповедования, новых политических движений, а также с духовной, творческой жизнью русского общества, обострившимся вниманием к внутреннему миру человека» [История лексики 1981, 262].

Само понятие *церковнославянизм* довольно сложное, собственно как любой термин, пытающийся охватить многовековые процессы в языке. Помимо классификации церковнославянизмов в соответствии с разными уровнями языка (так, выделяются фонетические, морфологические, словообразовательные, лексические и синтаксические церковнославянизмы), исследователи говорят, например, о славянизмах, усвоенных русским языком до христианской эпохи, а потому к категории *церковной* лексики не относящихся (например, *овошь, град*), о гебраизмах и других варваризмах — прямых заимствованиях, пришедших с христианской церковной культурой, не имеющих ничего общего со славянским языком (*аллилуйя, алтарь, поп, херувим* и т. д.). Под церковнославянизмами, в отличие от старославянизмов, понимаются также единицы русского извода церковнославянского языка, принятого в современной богослужебной практике Русской Церкви.

«К настоящему времени грамматика, фонетика, отчасти синтаксис литературного русского и церковнославянского языков представляют собой самостоятельные и далеко расходящиеся языковые системы, — пишет автор словаря церковнославяно-русских паронимов О. А. Седакова. — Но с лексикой дело обстоит не так: существует значительная по объему область «общих слов», принадлежащих обеим системам одновременно — и при этом слов, чрезвычайно существенных для каждого из двух языков. Не физическая реальность, не «плоть» отдельного слова во многих случаях относит его к церковнославянскому или русскому языку, а исключительно семантика» [Седакова 2005, 12].

В данной работе рассмотрены лексические и фразеологические церковнославянизмы. В качестве материала использованы сборники «Городские песни, баллады и романсы» (сост. Ф. М. Селиванов, А. В. Кулагина), «Современная баллада и жестокий романс» (сост. С. Б. Адоньева, Н. М. Герасимова), «Жестокий романс» (сост. В. Г. Смолицкий, Н. В. Михайлова).

Наиболее яркое свидетельство расщепления культурного средневекового единства — существенные расхождения в церковном и мирском языках. Это расхождение началось задолго до Петровской эпохи (эпохи секуляризации) — еще в XIV—XV вв., когда активные процессы в живом языке привели к тому, что церковнославянский язык перестал быть понятным не только рядовому мирянину, но и церковнослужителям и требовались существенные усилия для его школьного усвоения. В отмеченный период, однако, ценностными ориентирами оставались церковные, христианские категории. Что касается эпохи секуляризации, то здесь появляются новые идеалы, новые герои. Достаточно вспомнить популярную «Повесть о Фроле Скобееве» — авантюрный роман, написанный в начале XVIII в., герой которого пренебрегает основные христианские заповеди, не теряя при этом обаяния и добиваясь жизненного успеха. Такой герой был принципиально невозможен в древнерусской литературе.

Церковнославянский язык в это время превращается исключительно в язык культа, а русский развивается по своим законам. Разрыв постепенно становится довольно существенным: многие слова значительно меняют свою семантику. Так, в уже ставшем хрестоматийным примере из службы Богородице: «Приидите все празднолюбцы, честны Покровъ Божия Матере ублажимъ...», церковнославянизм «празднолюбец» означает человека, почитающего церковные праздники. Академический словарь русского языка под ред. А. П. Евгеньевой определяет слово «празднолюбивый» — любящий быть праздным, ленивый: «Празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню» (Пушкин «История села Горюхина») [СРЯ, 357]. То же значение у В. И. Даля: «празднолюбивый человек, празднолюб — лентяй, тунеядец, шатун, враг трудов, работы» [Даль 1990, 381]. Хотя он выделяет и иное значение: «празднолюбезный — чтуший церковные праздники» [Там же].

В эпоху сентиментализма и романтизма, когда началось воспевание «сладкая любви» [Тредиаковский 1834, 14], — эпоху становления современного русского литературного языка — происходит отбор языковых средств для выражения новых для литературной традиции тем и эмоций. В. В. Виноградов, исследуя язык пушкинской эпохи, писал: «... церковнославянская лексика и фразеология, отобранные и приоровленные к стилистическим и жанровым варягиям языка светского дворянского общества, теряла свою культовую и книжно-официальную экспрессию, отрывалась от контекста церковной идеологии и в этом “очищенном” виде вступала в разнообразные сочетания с формами литературной и разговорно-бытовой фразеологии, смешиваясь с салонным просторечием и французским языком» [Виноградов 1935, 51]. Эти новые средства пополняют и язык фольклора, и языки народные.

Поздняя народная лирика отразила различные языковые процессы, в том числе изменение семантики слов. Так, из языка профессиональной поэзии в народную песенную речь проника-

ет слово «прелестный»: «Я восемь лет искал повсюду / Тебя, **прелестная** моя» [Селиванов, Кулагина 1999, № 106], «Я выну беленький платочек, / **Прелестны** очи оботру» [Там же, № 200]; «Но что это? Выстрел — нет чайки **прелестной**» [Там же, № 307]; «**Прелестная** дева / ласкала меня» [Адоньева, Герасимова 1996, № 37]; «Канареечка **прелестная** утешает сердце мне» [Там же, № 54, 55]; «Но, увы, **прелестна** Хлоя, / Знать, судил ему так рок» [Там же, № 120].

В церковнославянском языке это слово имеет только негативную семантику. «Прелесть» — заблуждение, прельщение, обман; «прелестный» — льстивый, коварный, обольстительный [Дьяченко 1993, 486]. Одно из именований дьявола — прелестник: «Прельстися прелестник, прельстивыйся избавляется премудростию твою, боже мой» — обманулся обманщик (дьявол), а обманутого, (т. е. человека), спасает Премудрость твоя, Боже мой» [Седакова 2005, 271]. В древнерусский язык *прелесть*, *прелестный* пришли из церковнославянского [Фасмер 1987, 358] и имели только отрицательные оттенки смысла (см.: [Срезневский 1989, 1661—1662]). Словарь XI—XVII вв., иллюстрируя множество мотивированных словом «прелесть» лексем, не приводит у них ни одного случая положительной семантики<sup>7</sup>. В конце XVIII в. ситуация меняется: первое значение слова *прелестник*, *прелестница* — « тот, кто прельщает, сбляжняет, вовлекает в заблуждение вредными своими правилами, примерами, обещаниями», а второе (переносное) — «красавец, красавица; тот, который прельщает кого своею красотою и страсть любовную возраждает». Так же и у слова «*прелесть* — 1) Коварство, обман, соблазн. *Преле-*

*сти сатанинския.* 2) Красота, пригожество; пленительный вид, взор <...>». Слово же «прелестный» дается только с одним значением — «пленительный, весьма хороший, привлекательный. *Прелестной взор, вид. Прелестная места*» [САР, 1181]. Как многозначное с различными коннотациями представлено слово «прелесть» и его производные в словаре В. И. Даля [Даль 1990, 393]. Полярность значений этого слова еще хорошо осознавалась в начале XIX в. Так, Пушкин, используя термин «звезда *прелестная*», «карамбурно играет двойственностью его возможных осмыслений» [Виноградов 1935, 183], но у Лермонтова сочетание «*святая прелесть*» молитвы уже далеко не словесная игра. Переносное значение слова отрывается от книжно-церковных контекстов, и слово в его новом значении становится полноправной единицей литературного языка исключительно с положительной семантикой<sup>8</sup>.

Однокоренные «прелести» слова («прелестный», «прелестливый», «прелесье») проникают и в народные языки. В вологодских говорах конца XIX в. «прелестливый — 1) Прелестный, обаятельный. 2) Соблазнительный, имеющий притягательную силу» [СРНГ 1997, 84]. В Сибири зафиксировано «прелесье» (экспрес.) — «прелесть, что-либо очень приятное» [СРГС 2002 III, 449]. В Карелии «прелестный — 1) Вкусный. *Раза два суп давали со свининой — жирный, прелестный такой суп.* 2) Восприимчивый. *Ребенок прелестный ко всему*, — а «прельстить» значило «приласкать. Я его прельстила за его добро» [СРГК 2002, 142].

Таким образом, слово «прелестный», если рассматривать его в системе одного языка, является собой яркий пример поляризации значений — энантиосемии. А по сути дела перед нами пример формирования двуязычной омонимии: когда слова церковнославянского и русского языков совпадают в произношении, но абсолютно расходятся в значении. То же происходит с его синонимами «обаятельный», «очарова-

<sup>7</sup> Например: «Прелестный (прѣ-, лѣсть-), прил. 1. Вводящий в грех, соблазн, искушение... 2. Прельщающий мнимыми (прходящими) ценностями в противоположность ценностям истинным (вечным)... 3. Лживый, склонный к чему-либо вредному под видом полезного... 4. Ложный,искажающий истину, ошибочный, неправильный... 5. Легко поддающийся соблазнам, искушению, грешу... 6. Сеющий смуту; подстрекающий к мятеzu, измене, неповиновению и т. п.» [СРЯ XI—XVII, 258—259].

<sup>8</sup> О переосмыслиннии значения слова «прелесть» см.: [История лексики 1981, 273—275].

тельный». Чары, чарование в Библии — род колдовства («И рече царь призвати обаятелей, и волхвов, и чародеев — и приказал царь привести заклинателей, и магов, и колдунов» [Седакова 2005, 209]<sup>9</sup>). В светской поэзии и зависимых от нее городских народных романсах — символ всего прекрасного: «*Очаровательные глазки, очаровали вы меня*» (популярный романс И. Кондратьева); «*Минувших дней очарование, / Зачем опять воскресло ты?*» [Селиванов, Кулагина 1999, № 297]. Связанные с представлениями о колдовстве, чахах, обмане — языческих категориях, — эти слова в церковных и дидактических текстах имели отрицательную семантику. Закономерно их использование для обозначения внешней красоты, привлекательности<sup>10</sup>: в соответствии со средневековыми религиозными взглядами внешней красотой со временем сотворения мира завладел враг рода человеческого и с ее помощью затягивает в свои сети невинные души<sup>11</sup>. Инерция упо-

<sup>9</sup> Старое значение слова способно передавать колорит эпохи: так, «в исторических романах Лажечникова, где именование *очарователь* встречается особенно часто, оно рядоположено именам *враг божий* и *колдун*, т. е. вряд ли несет коннотацию позитивного» [Демьянков 2008, 256].

<sup>10</sup> Заметим, что и семантика слов «привлекательный», «притягательный» связана с неким насилием над личностью — спр.: влечь/волосити, притягивать. (В светском жаргоне начала XIX в. *волоситься* — добиваться расположения дамы, ухаживать без серьезных намерений.) В этом же ряду — «пленительный» (Эпитет *пленительный* был введен «в российский лексикон куртуазных образов» на рубеже XVIII—XIX вв. Об этом см.: [Демьянков 2004, 172].) «Очаровательный», как и «притягательный», «привлекательный», относится к категории атрактивной лексики. Об этом см: [Демьянков 2004, Демьянков 2008]. К этой категории слов относится и слово с русским корнем *-ворог-* / *-ворож-* «обворожительный» — слово, связанное с представлениями о ворожбе, колдовстве как источниках любовного чувства: «*Стелет лен, а неотвязная / Дума на сердце лежит: / Как другая девка красная / Молодца приворожит*» [Адоньева, Герасимова 1996, № 135].

<sup>11</sup> Такая позиция была особенно близка старообрядцам, которые склонны усматривать за внешней красотой безобразие души. Об

ребленияния этих слов для обозначения объектов чувства любви, нового для литературной традиции XVIII — начала XIX в., объясняются: в церковнославянской языковой стихии авторы искали средства для выражения столь сложных эмоций. В новые времена отношение к внешней, плотской красоте и даже к украшательству меняется. Поэт, в отличие от религиозного обличителя прелестниц, признается: «*Aх, обмануть меня не трудно!.. / Я сам обманыватьсь рад*». Однако представление о чахах любви как наваждении, связанном с нечистой силой, фиксируется в русском языке как в рассмотренных выше лексиках, так и в других: «*Ваших дьявольских глаз / Я боюсь как огня*» [Селиванов, Кулагина 1999, № 67].

Глаза в поздней народной любовной лирике часто становятся очами, а губки — устами: «*Ты целовал уста и очи*» [Там же, № 284, 334]; «*И уста мои большие не скажут, что прощай, дорогая моя*» [Там же, № 260]; «*Она дрожающими устами / Произнесла судьбы конец*» [Адоньева, Герасимова 1996, № 46]; «*И уста их слияся с устами*» [Там же, № 3]; «*А где тут милого уста, / Которы целовала?*» [Там же, № 144]; «*Любимых уст улыбка неземная*» [Там же, № 244]; «...всюду милый мой / Не сводил с меня очей» [Там же, № 13]; «*И льюцы слезы из очей*» [Там же, № 46]; «*Его очи то ясные / Прямо на небо глядят*» [Там же, № 52]; «*Откроешь ты, тоскуя, очи*» [Там же, № 73]; «*Когда да закроют очи ясны*» [Там же, № 150] и др.

Посредством авторской любовной лирики XVIII в. городской роман в пополняется западноевропейской галантной лексикой и фразеологией. Именно в эту эпоху в новом значении употребляется слово *ангел* (в обращении к возлюбленной или возлюбленному). Оно отходит от церковного контекста и приобретает в подражание французскому *ange* или *ton ange* новое, «светское» значение идеала, воплощения всего положительного или становится формой обращения. Из языка светских салонов и профессиональной поэзии слово проникает в народную лирику: «*Будь*

этом см., например: [Бычков 1992, 474], [Никитина 2004, 643].

*же ты, милая, добрым хранителем, / Ангелом кротким явись» [Селиванов, Кулагина 1999, № 311]; «Паша, ангел непорочный, / Не ропщи на жребий свой» [Там же, № 356]; «А если б не ты, милый ангел, со мной, / Жизнь для меня бы постыла» [Там же, № 114]; «А он шепчет: «Ангел мой! / Не мужчина я, а добрый домовой»» [Там же, № 84].*

Ангел как бесплотный дух, посланец Бога тоже присутствует в текстах: «Во сне в день ангела приснился, / На сердце искры заронил» [Там же, № 134]; «Во снах мне ангел приявился / И в сердце искру заронил» [Селиванов, Кулагина 1999, № 332]. Правда, единственная просьба героев, которые обращаются к христианским заступникам, — помочь в любви или помочь забыть любовь: «Услыши Отец, услыши вселенной, / Ты сделай милость для меня. / Ты выкинь на берег известный, / Туда, где милый мой, туда» [Там же, № 134]; «Чем же я прогневала Вышнего Творца?» [Там же, № 266]; «А мать ты Дева чистая, / Спаси, спаси меня. / Спаси меня, несчастную, / Не то погибну я» [Там же, № 322].

Злые сущности — дьявол, черт, демон — упоминаются либо в переносном значении: «А старый демон на диване, / Он просит трубку табаку» [Адоньев, Герасимова 1996, № 134], либо в составе фразеологизмов: «Ты лети, лети, как говорится, / На кулички к черту на обед» [Там же, № 210].

Все молитвенные обращения героев любовной лирики — о милых дружках: «В каком бы храме ни молился, / Всегда бы думал обо мне» [Селиванов, Кулагина 1999, № 188]; «Помолись иконам святым, / Может, милый к тебе и вернется» [Селиванов, Кулагина 1999, № 282]. В песнях иной тематики — о сохранении жизни: «Арестант <...> потихоньку молитву читал: “Ой, Всевышний Господь, дай мне силу / подышать еще несколько дней”» [Адоньев, Герасимова 1996, № 231]; «А в городе дальнем молилась невеста / И горько рыдала: “Спаси, Божья Мать!”» [Там же, № 200].

Обильные слезы героинь в песнях, как и в религиозной поэзии, могут сопровождаться молитвой: «Пойду с горя в монастырь / Богу помолюся, / Пред иконою святой / Слезами изольюся» [Там же, № 166]. Однако чаще картина другая: «По милом плакать не велят, / Молиться заставляют. / А я молиться не молюсь, / И сердцу больно, больно» [Селиванов, Кулагина 1999, № 139]; «Ах, грешница, мало молилася, / Божий храм для меня опостыл» [Там же, № 281].

Отдельную группу составляют слова, значение которых не понято исполнителем либо они искажены. «Слетят с голов ваших златые челы<sup>12</sup>» [Там же, № 105]; «Я на папертьку взошел» [Там же, № 217]; «Он на паперть зашел» [Адоньев, Герасимова 1996, № 139]; «Так будь же, анафем, ты проклят, / Злодей, за измену свою» [Селиванов, Кулагина 1999, № 276]; «Вокруг налога повели» [Селиванов, Кулагина 1999, № 212]; «Водят вокруг налога» [Адоньев, Герасимова 1996, № 139].

Употребление именований церковной атрибутики и персоналий в поздней лирике чаще всего мотивировано тем фактом, что повествование касается обрядов. Церковь, храм, паперть, аналой, священник, дьякон, свечи, крест, кадило, венец, венчание, певчие, колокола и др. упоминаются постольку, поскольку в песнях речь идет об обрядах венчания или погребения: «Все входят в церковь для обряда» [Смолицкий, Михайлова 1994, № 33]; «На паперти народ толчится, / И церковь вся освещена, / Но не пришел народ молиться, / Хотя и церковь вся полна. / Священник, дьякон в белых ризах, / Пред алтарем налог стоит; / И любопытство на всех лицах, / И вся толпа наверх глядит. / В толпе народ заволновался. / И входит с образом кадет / За ним невеста показалась / За ним идет толпа гостей» [Селиванов, Кулагина 1999, № 229]; «У нас к венчанию все готово / И нас священник в церкви ждет» [Адоньев, Герасимова 1996, № 102]; «Нашу нечастную Таню / В церковь венчали повели» [Смолицкий, Михайлова 1994, № 34]; «Не быть, не быть во Божьем храме / И не стоять

<sup>12</sup> Словарь Срезневского фиксирует у слова «чело» значение ‘женский головной убор’ [Срезневский 1989, 1489]. Самое раннее употребление слова в этом значении отмечено в тексте начала XVI в. В цитируемом романсе слово «челы», скорее всего, ошибочно используется вместо «венцы».

*нам под венцом*» [Селиванов, Кулагина 1999, № 135]; «У церкви стояла карета, / Там пышная свадьба была» [Там же, № 211]; «Горели венчальные свечи, / Священнику клятвенной речи / Сказать не хотела она» [Там же, № 211]; «Во перву церковь я вбежала / Стоял злодей мой под венцом» [Там же, № 213]; «Иди, девочонка, в первую церковь, Его застанешь под венцом» [Там же, № 214]; «В нашем Шуевском соборе / В большой колокол звонят, / Нашу милую Паращу / Венчать с барином хотят» [Там же, № 65]; или «Схороните младенку / Против церкви святой, / На могилу поставьте / Вы мне крест золотой» [Там же, № 166]; «Поп-священник со кадилом, а мой милый со свечой... / Эх да все певчие запели, / А мой милый зарыдал» [Селиванов, Кулагина 1999, № 247]; «Большой гроб и высокий, / Священник впереди...» [Там же, № 514]; «Заходит мать в часовню: / Сосновый гроб стоит» [Адоньев, Герасимова 1996, № 111]. Икона может упоминаться как атрибут ритуала благословения: «Мать его встречает со иконою святой» [Смолицкий, Михайлова 1994, № 6]; «Встречает мамаша с иконой святой» [Адоньев, Герасимова 1996, № 81]. Благословляя, герои осеняют друг друга крестом: «<Мать> крестила дрожащей рукою, / А слезы лились, как вода» [Селиванов, Кулагина 1999, № 34].

Так же и реминисценции церковных песнопений связаны с обрядами. Например, в сюжете, посвященном неравному браку, упоминается один из тропарей: «И вот «Исаию» пропели, / Вокруг наложения повели» [Адоньев, Герасимова 1996, № 40]. «Исаия, ликуй» — текст, который поется во время чина бракосочетания в православной церкви при первом обходе жениха с невестой вокруг аналоя. Название этого тропаря было хорошо известно. Упоминают о нем и пословицы: «Исаия, ликуй, а ты, девушка, не финтий» [Даль 1991, 535]. Во время обряда, согласно тексту романса, читается «Апостол»: «Вот начался обряд венчанья, «Апостол» дьякон стал читать» [Селиванов, Кулагина 1999, № 229]. В строфе «Вчера им пели Многа лета, / Сегодня «память» им поют» [Там же, № 212] встречается две

известные церковные формулы. Первая — формула церковного поздравления («Многая лета»); вторая («Вечная память») — формула прощания, молитвенное возвзание, которое произносится во время чина отпевания и после поминальной трапезы. В текстах песен они встречаются довольно часто: «Вчера им пели: «Многа лета!» [Смолицкий, Михайлова 1994, № 33]; «<...> зажгут свечи восковые, / «Вечну память» запоют» [Там же, № 35]; «Поведут вас вокруг наложения, / А мне «Вечно» запоют» (Там же, № 36); «Наш могучий император — / Память вечная ему» [Селиванов, Кулагина 1999, № 7]; «И долго над братской могилой молилась: «О вечная память, о вечный покой!»» [Адоньев, Герасимова 1996, № 200]. Упоминается в текстах и строчка из кондака заупокойной молитвы «Со святыми упокоей»: «Громко певцы ей запели «Со святыми упокоей!»» [Там же, № 110]; «Это наша русская «Катюша» / Немчуре поет за упокоей» [Там же, № 210].

В одном из вариантов романса о посещении красавицей могилы возлюбленного вместо «А я заплакала, завыла» [Селиванов, Кулагина 1999, № 256] слова стихиры Иоанна Дамаскина из чина отпевания усопших: «Плачу и рыдаю, егда помышляю о смерти»: «Всегда я плачу и рыдаю» [Там же, № 255].

Мотивы, связанные с монастырской жизнью, вводят в песенный вокабулляр такие слова, как монах, монастырь, келья и др.: «Я пойду, я пойду помолюсь / К молодому монаху во келью» [Там же, № 82], «На том на самом месте / Построю монастырь, / Сошью я платье черно, / Монашенкой пойду» [Там же, № 30]; «При том при острове Буйне / Стоял огромный монастырь. / Сидел в нем юноша прекрасный, / Читал божественный псалтырь» [Адоньев, Герасимова 1999, № 85].

В позднюю поэзию входят и имена библейских персонажей, ставшие нарицательными: «И стоит, точно Каин-преступник, / Старший брат перед ним умирал, / Точно Ирод, свободы отступник, / Он над трупом ребенка рыдал» [Селиванов, Кулагина 1999, № 379]. К библейским «цитатам», возможно, восходит «вертеп разврата»:

«Она ушла в *вертеп разврата*» [Там же, № 273]; в Евангелии — «дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его *вертепом разбойников*» (Мф. 21: 13). Евангельской аллюзией, возможно, является строчка из солдатской песни «*Брат пойдет ли против брата?*» [Там же, № 38]. Сравним: «Предаст же брат брата на смерть» (Мф. 10:21). Евангельские детали порой неоправданно попадают в тексты. Так, красотка в гробу, голова которой «убрана цветами», вдруг оказывается в терновом венце: «*Венок терновый положили / Закрыли крышкой гробовой*» [Адоньева, Герасимова 1996, № 110].

Используются в текстах и библейские топонимы «рай» и «ад», которые в русском языке приобрели оценочный характер: «*A идет он — словно в рай*» [Смoliцкий, Михайлова 1994, № 19]; «*Найду блаженство рая, / И в нем я буду жить*» [Селиванов, Кулагина 1999, № 335]; «*Узнаете вы муки адa*» [Там же, № 92].

Верить «святыми обета» [Смoliцкий, Михайлова 1994, № 59], изменить «священную клятву» [Там же, № 35], глядеть «на свет божий» [Там же, № 63], не знать «блаженной мечты» [Селиванов, Кулагина 1999, № 290], «испить» «чашу великого горя» [Селиванов, Кулагина 1999, № 22], роптать «на жребий свой» [Там же, № 356], поднять «небу глаза» [Там же, № 31]; «поругана святыня» [Там же, № 212] — эти и другие словосочетания, восходящие к Библии и связанные с церковной риторикой, отражают влияние книжной культуры.

О *кресте, молитве, храме, святых* герои вспоминают и в том случае, когда совершают антихристианские поступки: готовятся к самоубийству, убийству, незаконной связи. Девушка решила покончить с собой — «*на церковь перекрестилась / И скрылась под водой*» [Там же, № 150, 151, 152]. Герои осознают греховность своих мыслей и поступков («*И раннюю могилу безбожно я звала*» [Смoliцкий, Михайлова 1994, № 7]), однако продолжают грешить и при этом молить Бога: «*A завтра я лягу в могилу, / И буду лежать там одна / И буду лежать я, молиться, / И буду святых умолять*» [Селиванов, Кулагина

1999, № 157]; «*на Божий храм перекрестилась, / С слезой взглянув на дом родной*» [Там же, № 277]; «*Наган со стенки я сымала, / перекрестилась и пошла*» [Там же, № 279].

Как и в литературном языке, рассматриваемые нами лексические единицы часто выполняют функцию междометий, входят в состав фразеологизмов и употребляются вне религиозного контекста: «*Эх, Боже мой, что дальше будет...*» [Селиванов, Кулагина 1999, № 33]; «*Дай же, дай же Бог тебе / Счастья и покоя*» [Там же, № 217]; «*Ой, тише, тише, ради Бога*» [Адоньева, Герасимова 1996, № 180]; «*Бог знает, увижу ли с ней*» [Там же, № 237]; «*Не любишь, так Бог же с тобой*» [Селиванов, Кулагина 1999, № 211; Адоньева, Герасимова 1996 № 43]; «*A не пройдет, то Бог с тобою*» [Селиванов, Кулагина 1999, № 333]; «*Ты уезжаешь, Бог с тобой!*» [Там же, № 509]; «*Бог на помощь, девка красная...*» [Там же, № 97]; «*На камень голову склонила / И Богу душу отдала*» [Там же, № 221]; «*Я упаду на дно морское, / Оно мне Богом суждено*» [Адоньева, Герасимова 1996, № 11].

Как отмечает О. А. Седакова, «церковнославянский, при всех изменениях, которые он претерпел с кирилло-методиевского времени до наших дней, в замысле был закрытой системой, дистанцированной от бытовой речи...» [Седакова 2005, 10]. Однако церковь активно включалась в жизнь и быт простого человека, и соответствующая церковная лексика постепенно становилась неотъемлемой частью народных языков. Иное развитие проходят церковнославянизмы, которые, попадая в язык, не обслуживающий интересы церкви, либо меняли свою семантику, либо использовались в переносном значении, иногда искалились.

Включение лексики и фразеологии, связанной с христианством и церковью, в позднюю народную поэзию довольно частично. Источники этих лексико-фразеологических единиц — в авторских и профессиональных текстах, переделки которых активно пополняли песенный народный репертуар; непосредственные впечатления от соприкосновения слагателя поздних роман-

сов и песен с действительностью, чаще всего обрядовой, также способствовали привлечению церковнославянизмов в словарь рассмотренной группы текстов.

## Литература

Адоньева, Герасимова 1996 — Современная баллада и жестокий роман / сост. С. Б. Адоньева, Н. М. Герасимова. СПб., 1996.

Азбелев 1991 — Исторические песни и баллады / вступ. ст., подг. текстов и прим. С. Н. Азбелева. М., 1991.

Балашов 1963 — Народные баллады / вступ. ст., подг. текста и прим. Д. М. Балашова. Общ. ред. А. М. Астаховой. М.; Л., 1963.

Балашов 1966 — *Балашов Д. М.* История развития жанра русской баллады. Петрозаводск, 1966.

Бобунова, Хроленко 2006 — *Бобунова М. А., Хроленко А. Т.* Словарь языка русского фольклора. Лексика былины. Ч. 2: Мир и человек. Курск, 2006.

Виноградов 1935 — *Виноградов В. В.* Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. М.; Л., 1935.

Гильфердинг 1950 — Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. М.; Л., 1950. Т. II.

Григорьев 1939 — Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. Прага, 1939. Т. II.

Даль 1990 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1989—1991. Т. 3.

Даль 1991 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1989—1991. Т. 4.

Демьянков 2004 — *Демьянков В. З.* Пленительная красота // Логический анализ языка. Языки эстетики. Концептуальные поля прекрасного и безобразного / сост. и отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М., 2004. С. 169—208.

Демьянков 2008 — *Демьянков В. З.* Очаровательная красота // Динамические модели: Слово. Предложение. Текст: Сб. ст. в честь Е. А. Падучевой. М., 2008. С. 249—279.

История лексики 1981 — История лексики русского литературного языка конца XVII — начала XIX века / отв. ред. Ф. П. Филин. М., 1981.

Киреевский 1860 — Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1860. Вып. I.

Никитина 2004 — *Никитина С. Е.* О статусе красоты в современной народной культуре: прекрасное и красивое // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М., 2004.

САР — Словарь Академии Российской 1789—1794: в 6 т. М., 2002. Т. 3. (3 — Л).

Седакова 2005 — *Седакова О. А.* Церковнославянско-русские паронимы: Материалы к словарю. М., 2005.

Селиванов 1995 — *Селиванов Ф. М.* Русские народные духовные стихи. Учебное пособие для филологических факультетов. Йошкар-Ола, 1995.

Селиванов, Кулагина 1999 — Городские песни, баллады и романсы. Сост., подг. текста, comment. А. В. Кулагиной и Ф. М. Селиванова. М., 1999.

Смoliцкий, Михайлова 1994 — Русский жестокий роман. Сборник / сост. В. Г. Смолицкий, Н. В. Михайлова. М., 1994.

Срезневский 1989 — *Срезневский И. И.* Словарь древнерусского языка. (Репринтное издание.) М., 1989.

СРГК 2002 — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: в 6 вып. / отв. ред. Л. В. Зубова, И. С. Лутовинова, О. А. Черепанова; гл. ред. А. С. Герд. СПб., 2002. Вып. 5 (Подузорье — Свильнуть).

СРГС 2002 — Словарь русских говоров Сибири / сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров. Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 2002. Т. 3.

СРНГ 1997 — Словарь русских народных говоров. СПб., 1997. Вып. 31. (Почестно — Присуть).

СРЯ — Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981—1988.

СРЯ XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1992. Вып. 18.

Тредиаковский — *Тредиаковский В. К.* Езда в остров любви. М., 1834.

Фасмер 1987 — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1987. Т. 3 (Муза — Сят).

**Summary.** The article is devoted to the lexical and phraseological features of the latest folk ballads and songs. It discusses the penetration of the church slavonic lexical units in folk ballads and songs. It also studies the mechanisms of semantic shifts that have occurred in this layer of vocabulary in texts generated by the epoch of sentimentalism and romanticism associated with the phenomenon of secularization of culture.

**Key words:** folk ballad, romance, the church slavonic lexical units, lyrics, the language of folklore.